

Тренируй глаза - читая!

Русская классика
в формате ЛПЛ



Выпуск I

И.А.Гончаров

Фрегат "Паллада"

Тренируй глаза – читая!

Текст произведения исполнен в формате ЛПЛ (лечебно-профилактическая литература), предназначенном для тренировки аккомодационных мышц с целью профилактики и лечения зрительных аномалий по методике В.С.Мазуркевича.



Методика защищена патентом.

Текст в данной обработке не предназначен для распространения в любом виде (электронном либо печатном) без официального разрешения патентообладателя.

И. А. Гончаров

Фрегат «Паллада»

Том 1

I

ОТ КРОНШТАДТА ДО МЫСА ЛИЗАРДА

Сборы, прощание и отъезд в Кронштадт. – Фрегат "Паллада". – Море и моряки. – Кают-компания. – Финский залив. – Свежий ветер. – Морская болезнь. – Готланд. – Cholera на фрегате. – Падение человека в море. – Зунд.

– Каттегат и Скагеррак. – Немецкое море. – Доггерская банка и Галлоперский маяк. – Покинутое судно. – Рыбаки. – Британский канал и Спитгедский рейд. – Лондон. – Похороны Веллингтона. – Заметки об англичанах и англичанках. – Возвращение в Портсмут. – Житье на "Кемпердоуне". – Прогулка по Портсмуту, Саутси, Портси и Госпорту. – Ожидание попутного ветра на Спитгедском рейде.

– Вечер накануне Рождества. – Силуэт англичанина и русского. – Отплытие.

Меня удивляет, как могли вы не получить моего первого письма из Англии, от 2/14 ноября 1852 года, и второго из Гонконга, именно из мест, где об участии письма заботятся, как о судьбе новорожденного младенца. В Англии и ее колониях письмо есть заветный предмет, который проходит чрез тысячи рук, по железным и другим дорогам, по океанам, из полушария в полушарие, и находит неминуемо того, к кому послано, если только он жив, и так же неминуемо возвращается, откуда послано, если он умер или сам воротился туда же. Не затерялись ли письма на материке, в датских или прусских владениях? Но теперь поздно производить следствие о таких пустяках: лучше вновь написать, если только это нужно...

Вы спрашиваете подробностей моего знакомства с морем, с моряками, с берегами Дании и Швеции, с Англией? Вам хочется знать, как я вдруг из своей покойной комнаты, которую оставлял только в случае крайней надобности и всегда с сожалением, перешел на зыбкое лоно морей, как, избалованнейший из всех вас

городскою жизнью, обычною суетой дня и мирным спокойствием ночи, я вдруг, в один день, в один час, должен был ниспровергнуть этот порядок и ринуться в беспорядок жизни моряка? Бывало, не заснешь, если в комнату ворвется большая муха и с буйным жужжаньем носится, толкаясь в потолок и в окна, или заскребет мышонок в углу; бежишь от окна, если от него дует, бранишь дорогу, когда в ней есть ухабы, откажешься ехать на вечер в конец города под предлогом "далеко ехать", боишься пропустить урочный час лечь спать; жалуешься, если от супа пахнет дымом, или жаркое перегорело, или вода не блестит, как хрусталь... И вдруг – на море! "Да как вы там будете ходить – качает?" – спрашивали люди, которые находят, что если заказать карету не у такого-то каретника, так уж в ней качает. "Как ляжете спать, что будете есть? Как уживетесь с новыми людьми?" – сыпались вопросы, и на меня смотрели с болезненным любопытством, как на жертву, обреченную пытке.

Из этого видно, что у всех, кто не бывал на море, были еще в памяти старые романы Купера или рассказы Мариета о море и моряках, о капитанах, которые чуть не сажали на цепь пассажиров, могли жечь и вешать подчиненных, о кораблекрушениях, землетрясениях. "Там вас капитан на самый верх посадит, – говорили мне друзья и знакомые (отчасти и вы, помните?), – есть не велит давать, на пустой берег высадит". – "За что?" – спрашивал я. "Чуть не так сядете, не так пойдете, закурите сигару, где не велено". – "Я всё буду делать, как делают там", – кротко отвечал я. "Вот вы привыкли по ночам сидеть, а там, как солнце село, так затушат все огни, – говорили другие, – а шум, стукотня какая, запах, крик!" – "Сопьетесь вы там с кругу! – пугали некоторые, – пресная вода там в редкость, всё больше ром пьют". – "Ковшами, я сам видел, я был на корабле", – прибавил кто-то. Одна старушка всё грустно качала головой, глядя на меня, и упрашивала ехать "лучше сухим путем кругом света". Еще барыня, умная, милая, заплакала, когда я приехал с ней прощаться. Я изумился: я видался с нею всего раза три в год и мог бы не видаться три года, ровно столько, сколько нужно для кругосветного плавания, она бы не заметила. "О чем вы плачете?" – спросил я. "Мне жаль вас", – сказала она, отирая слезы. "Жаль потому, что лишний человек все-таки

развлечение?" – заметил я. "А вы много сделали для моего развлечения?" – сказала она. Я стал в тупик: о чем же она плачет? "Мне просто жаль, что вы едете бог знает куда". Меня зло взяло. Вот как смотрят у нас на завидную участь путешественника! "Я понял бы ваши слезы, если б это были слезы зависти, – сказал я, – если б вам было жаль, что на мою, а не на вашу долю выпадает быть там, где из нас почти никто не бывает, видеть чудеса, о которых здесь и мечтать трудно, что мне открывается вся великая книга, из которой едва кое-кому удастся прочесть первую страницу..." Я говорил ей хорошим слогом. "Полноте, – сказала она печально, – я знаю всё; но какую ценою достанется вам читать эту книгу? Подумайте, что ожидает вас, чего вы натерпите, сколько шансов не воротиться!.. Мне жаль вас, вашей участи, оттого я и плачу. Впрочем, вы не верите слезам, – прибавила она, – но я плачу не для вас: мне просто плачется".

Мысль ехать, как хмель, туманила голову, и я беспечно и шутливо отвечал на все предсказания и предостережения, пока еще событие было далеко. Я всё мечтал – и давно мечтал – об этом вояже, может быть с той минуты, когда учитель сказал мне, что если ехать от какой-нибудь точки безостановочно, то воротишься к ней с другой стороны: мне захотелось поехать с правого берега Волги, на котором я родился, и воротиться с левого; хотелось самому туда, где учитель указывает пальцем быть экватору, полюсам, тропикам. Но когда потом от карты и от учительской указки я перешел к подвигам и приключениям Куков, Ванкуверов, я опечалился: что перед их подвигами Гомеровы герои, Аяксы, Ахиллесы и сам Геркулес? Дети!

Робкий ум мальчика, родившегося среди материка и не видавшего никогда моря, цепенел перед ужасами и бедами, которыми наполнен путь пловцов. Но с годами ужасы изглаживались из памяти, и в воображении жили, и пережили молодость, только картины тропических лесов, синего моря, золотого, радужного неба.

"Нет, не в Париж хочу, – помните, твердил я вам, – не в Лондон, даже не в Италию, как звучи вы о ней ни пели, поэт 1}, – хочу в Бразилию, в Индию, хочу туда, где солнце из камня вызывает жизнь и тут же рядом

превращает в камень всё, чего коснется своим огнем; где человек, как праотец наш, рвет несейный плод, где рыщет лев, пресмыкается змей, где царствует вечное лето, – туда, в светлые чертоги Божьего мира, где природа, как баядерка, дышит сладострастием, где душно, страшно и обаятельно жить, где обессиленная фантазия немеет перед готовым созданием, где глаза не устанут смотреть, а сердце биться".

Всё было загадочно и фантастически прекрасно в волшебной дали: счастливицы ходили и возвращались с заманчивою, но глухою повестью о чудесах, с детским толкованием тайн мира. Но вот явился человек, мудрец и поэт, и озарил таинственные углы. Он пошел туда с компасом, заступом, циркулем и кистью, с сердцем, полным веры к Творцу и любви к Его мирозданию. Он внес жизнь, разум и опыт в каменные пустыни, в глушь лесов и силою светлого разума указал путь тысячам за собою. "Космос!" Еще мучительнее прежнего хотелось взглянуть живыми глазами на живой космос.

"Подал бы я, – думалось мне, – доверчиво мудрецу руку, как дитя взрослому, стал бы внимательно слушать, и, если понял бы настолько, насколько ребенок понимает толкования дядьки, я был бы богат и этим скудным разумением". Но и эта мечта улеглась в воображении вслед за многим другим. Дни мелькали, жизнь грозила пустотой, сумерками, вечными буднями: дни, хотя порознь разнообразные, сливались в одну утомительно-однообразную массу годов.

Зевота за делом, за книгой, зевота в спектакле, и та же зевота в шумном собрании и в приятельской беседе!

И вдруг неожиданно суждено было воскресить мечты, расшевелить воспоминания, вспомнить давно забытых мною кругосветных героев. Вдруг и я вслед за ними иду вокруг света! Я радостно содрогнулся при мысли: я буду в Китае, в Индии, переплыву океаны, ступлю ногою на те острова, где гуляет в первобытной простоте дикарь, посмотрю на эти чудеса – и жизнь моя не будет праздным отражением мелких, надоевших явлений. Я обновился; все мечты и надежды юности, сама юность воротилась ко мне. Скорей, скорей в путь!

Странное, однако, чувство одолело меня, когда решено было, что я еду: тогда только сознание о громадности предприятия заговорило полно и отчетливо. Радужные мечты побледнели надолго; подвиг подавлял воображение, силы ослабевали, нервы падали по мере того, как наступал час отъезда. Я начал завидовать участи

остающихся, радовался, когда являлось препятствие, и сам раздувал затруднения, искал предлогов остаться. Но судьба, по большей части мешающая нашим намерениям, тут как будто задала себе задачу помогать.

И люди тоже, даже незнакомые, в другое время недоступные, хуже судьбы, как будто сговорились уладить дело. Я был жертвой внутренней борьбы, волнений, почти изнемогал. "Куда это? Что я затеял?" И на лицах других мне страшно было читать эти вопросы. Участие пугало меня. Я с тоской смотрел, как пустела моя квартира, как из нее понесли мебель, письменный стол, покойное кресло, диван. Покинуть всё это, променять на что?

Жизнь моя как-то раздвоилась, или как будто мне дали вдруг две жизни, отвели квартиру в двух мирах. В одном я – скромный чиновник, в форменном фраке, робеющий перед начальническим взглядом, боящийся простуды, заключенный в четырех стенах с несколькими десятками похожих друг на друга лиц, вицмундиров. В другом я – новый аргонавт, в соломенной шляпе, в белой льняной куртке, может быть с табачной жвачкой во рту, стремящийся по безднам за золотым руном в недоступную Колхиду, меняющий ежемесячно климаты, небеса, моря, государства. Там я редактор докладов, отношений и предписаний; здесь – певец, хотя *ex officio*, похода. Как пережить эту другую жизнь, сделаться гражданином другого мира? Как заменить робость чиновника и апатию русского литератора энергиею мореходца, изнеженность горожанина – загрубелостью матроса? Мне не дано ни других костей, ни новых нерв. А тут вдруг от прогулок в Петергоф и Парголово шагнуть к экватору, оттуда к пределам Южного полюса, от Южного к Северному, переплыть четыре океана, окружить пять материков и мечтать воротиться... Действительность, как туча, приближалась всё грозней и грозней; душу посещал и мелочной страх, когда я углублялся в подробный анализ предстоящего вояжа. Морская болезнь, перемены климата, тропический зной, злокачественные лихорадки, звери, дикари, бури – всё приходило на ум, особенно бури. Хотя я и беспечно отвечал на все, частью трогательные, частью смешные, предостережения друзей, но страх нередко и днем и ночью рисовал мне призраки бед. То представлялась скала, у подножия которой лежит наше разбитое судно, и утопающие напрасно хватаются усталыми руками за гладкие камни; то снилось, что я на пустом острове, выброшенный с обломком корабля, умираю с голода...

Я просыпался с трепетом, с каплями пота на

лбу. Ведь корабль, как он ни прочен, как ни приспособлен к морю, что он такое? – щепка, корзинка, эпиграмма на человеческую силу. Я боялся, выдержит ли непривычный организм массу суровых обстоятельств, этот крутой поворот от мирной жизни к постоянному бою с новыми и резкими явлениями бродячего быта? Да, наконец, хватит ли души вместить вдруг, неожиданно развивающуюся картину мира? Ведь это дерзость почти титаническая! Где взять силы, чтоб воспринять массу великих впечатлений? И когда ворвутся в душу эти великолепные гости, не смутится ли сам хозяин среди своего пира?

Я справлялся, как мог, с сомнениями: одни удалось победить, другие оставались нерешенными до тех пор, пока дойдет до них очередь, и я мало-помалу ободрился. Я вспомнил, что путь этот уже не Магелланов путь, что с загадками и страхами справились люди. Не величавый образ Колумба и Васко де Гама гадательно смотрит с палубы вдаль, в неизвестное будущее: английский лоцман, в синей куртке, в кожаных панталонах, с красным лицом, да русский штурман, с знаком отличия беспорочной службы, указывают пальцем путь кораблю и безошибочно назначают день и час его прибытия. Между моряками, зевая апатически, лениво смотрит "в безбрежную даль" океана литератор, помышляя о том, хороши ли гостиницы в Бразилии, есть ли прачки на Сандвичевых островах, на чем ездят в Австралии? "Гостиницы отличные, – отвечают ему, – на Сандвичевых островах найдете всё: немецкую колонию, французские отели, английский портер – все, кроме – диких". В Австралии есть кареты и коляски; китайцы начали носить ирландское полотно; в Ост-Индии говорят всё по-английски; американские дикари из леса порываются в Париж и в Лондон, просят в университет; в Африке черные начинают стыдиться своего цвета лица и понемногу привыкают носить белые перчатки.

Лишь с большим трудом и издержками можно попасть в кольца удава или в когти тигра и льва. Китай долго крепился, но и этот сундук с старою рухлядью вскрылся – крышка слетела с петель, подорванная порохом. Европейец роется в ветоши, достает, что придется ему впору, обновляет, хозяйничает... Пройдет еще немного времени, и не станет ни одного чуда, ни одной тайны, ни одной опасности, никакого неудобства. И теперь воды морской нет, ее делают пресною, за пять тысяч верст от берега является блюдо свежей зелени и дичи; под экватором можно поесть русской капусты и щей. Части света быстро сближаются между собою: из Европы в Америку – рукой подать; поговаривают, что будут ездить туда в сорок восемь часов, – пуф, шутка конечно, но современный пуф, намекающий на будущие гигантские успехи

мореплавания.

Скорей же, скорей в путь! Поэзия дальних странствий исчезает не по дням, а по часам. Мы, может быть, последние путешественники, в смысле аргонавтов: на нас еще, по возвращении, взглянут с участием и завистью.

Казалось, все страхи, как мечты, улеглись: вперед манил простор и ряд неиспытанных наслаждений. Грудь дышала свободно, навстречу веяло уже югом, манили голубые небеса и воды. Но вдруг за этою перспективой возникало опять грозное привидение и росло по мере того, как я вдавался в путь. Это привидение была мысль: какая обязанность лежит на грамотном путешественнике перед соотечественниками, перед обществом, которое следит за плователями?

Экспедиция в Японию – не иголка: ее не спрячешь, не потеряешь. Трудно теперь съездить и в Италию, без ведома публики, тому, кто раз брался за перо. А тут предстоит объехать весь мир и рассказать об этом так, чтоб слушали рассказ без скуки, без нетерпения. Но как и что рассказывать и описывать? Это одно и то же, что спросить, с какою физиономией явиться в общество?

Нет науки о путешествиях: авторитеты, начиная от Аристотеля до Ломоносова включительно, молчат; путешествия не попали под ферулу риторики, и писатель свободен пробираться в недра гор, или опускаться в глубину океанов, с ученою пытливостью, или, пожалуй, на крыльях вдохновения скользить по ним быстро и ловить мимоходом на бумагу их образы; описывать страны и народы исторически, статистически или только посмотреть, каковы трактиры, – словом, никому не отведено столько простора и никому от этого так не тесно писать, как путешественнику. Говорить ли о теории ветров, о направлении и курсах корабля, о широтах и долготах или докладывать, что такая-то страна была когда-то под водою, а вот это дно было наруже; этот остров произошел от огня, а тот от сырости; начало этой страны относится к такому времени, народ произошел оттуда, и при этом старательно выписать из ученых авторитетов, откуда, что и как? Но вы спрашиваете чего-нибудь позанимательнее. Всё, что я говорю, очень важно; путешественнику стыдно заниматься будничным делом: он должен посвящать себя преимущественно тому, чего уж нет давно, или тому, что, может быть, было, а может быть, и нет.

"Отошлите это в ученое общество, в академию, – говорите вы, – а беседуя с людьми всякого образования, пишите иначе. Давайте нам чудес, поэзии, огня, жизни и красок!" Чудес, поэзии! Я сказал, что их нет, этих чудес: путешествия утратили чудесный характер. Я не сражался со львами и

тиграми, не пробовал человеческого мяса. Всё подходит под какой-то прозаический уровень.

Колонисты не мучат невольников, покупщики и продавцы негров называются уже не купцами, а разбойниками; в пустынях учреждаются станции, отели; через бездонные пропасти вешают мосты. Я с комфортом и безопасно проехал сквозь ряд португальцев и англичан – на Мадере и островах Зеленого Мыса; голландцев, негров, готтентотов и опять англичан – на мысе Доброй Надежды; малайцев, индусов и... англичан – в Малайском архипелаге и Китае, наконец, сквозь японцев и американцев – в Японии. Что за чудо увидеть теперь пальму и банан не на картине, а в натуре, на их родной почве, есть прямо с дерева гуавы, мангу и ананасы, не из теплиц, тощие и сухие, а сочные, с римский огурец величиною? Что удивительного теряться в кокосовых неизмеримых лесах, путаться ногами в ползучих лианах, между высоких, как башни, деревьев, встречаться с этими цветными странными нашими братьями? А море? И оно обыкновенно во всех своих видах, бурное или неподвижное, и небо тоже, полуденное, вечернее, ночное, с разбросанными, как песок, звездами. Всё так обыкновенно, всё это так должно быть. Напротив, я уехал от чудес: в тропиках их нет. Там всё одинаково, всё просто. Два времени года, и то это так говорится, а в самом деле ни одного: зимой жарко, а летом знойно; а у вас там, на "дальнем севере", четыре сезона, и то это положено по календарю, а в самом-то деле их семь или восемь. Сверх положенных, там в апреле является нежданное лето, морит духотой, а в июне непрошенная зима порошит иногда снегом, потом вдруг наступит зной, какому позавидуют тропики, и всё цветет и благоухает тогда на пять минут под этими страшными лучами. Раза три в год Финский залив и покрывающее его серое небо нарядятся в голубой цвет и млеют, любясь друг другом, и северный человек, едучи из Петербурга в Петергоф, не насмотрится на редкое "чудо", ликует в непривычном зное, и всё заликует: дерево, цветок и животное. В тропиках, напротив, страна вечного зефира, вечного зноя, покоя и синева небес и моря.

Всё однообразно!

И поэзия изменила свою священную красоту. Ваши музы, любезные поэты 2}, законные дочери парнасских камен, не подали бы вам услужливой лиры, не указали бы на тот поэтический образ, который кидается в глаза новейшему путешественнику. И какой это образ! Не блистающий красотой, не с атрибутами силы, не с искрой демонского огня в глазах, не с мечом, не в короне, а просто в

черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, с зонтиком в руках.

Но образ этот властвует в мире над умами и страстями. Он всюду: я видел его в Англии – на улице, за прилавком магазина, в законодательной палате, на бирже. Всё изящество образа этого, с синими глазами, блестит в тончайшей и белейшей рубашке, в гладко выбритом подбородке и красиво причесанных русых или рыжих бакенбардах. Я писал вам, как мы, гонимые бурным ветром, дрожа от северного холода, пробежали мимо берегов Европы, как в первый раз пал на нас у подошвы гор Мадеры ласковый луч солнца и, после угрюмого, серо-свинцового неба и такого же моря, заплескали голубые волны, засияли синие небеса, как мы жадно бросились к берегу погреться горячим дыханием земли, как упивались за версту повеявшим с берега благоуханием цветов.

Радостно вскочили мы на цветущий берег, под олеандры. Я сделал шаг и остановился в недоумении, в огорчении: как, и под этим небом, среди ярко блещущих красок моря зелени... стояли три знакомые образа в черном платье, в круглых шляпах! Они, опираясь на зонтики, повелительно смотрели своими синими глазами на море, на корабли и на воздымавшуюся над их головами и поросшую виноградниками гору. Я шел по горе; под портиками, между фестонами виноградной зелени, мелькал тот же образ; холодным и строгим взглядом следил он, как толпы смуглых жителей юга добывали, обливаясь потом, драгоценный сок своей почвы, как катили бочки к берегу и усылали вдаль, получая за это от повелителей право есть хлеб своей земли. В океане, в мгновенных встречах, тот же образ виден был на палубе кораблей, насвистывающий сквозь зубы: "Rule, Britannia, upon the sea". Я видел его на песках Африки, следящего за работой негров, на плантациях Индии и Китая, среди тюков чая, взглядом и словом, на своем родном языке, повелевающего народами, кораблями, пушками, двигающего необъятными естественными силами природы... Везде и всюду этот образ английского купца носится над стихиями, над трудом человека, торжествует над природой!

Но довольно делать *pas de geants* 3}: будем путешествовать умеренно, шаг за шагом. Я уже успел побывать с вами в пальмовых лесах, на раздолье океанов, не выехав из Кронштадта. Оно и нелегко: если, собираясь куда-нибудь на богомолье, в Киев или из деревни в Москву, путешественник не оберется суматохи, по

десяти раз кидается в объятия родных и друзей, закусывает, присаживается и т. п., то сделайте посылку, сколько понадобится времени, чтобы тронуться четверемстам человек – в Японию. Три раза ездил я в Кронштадт, и всё что-нибудь было еще не готово. Отъезд откладывался на сутки, и я возвращался еще провести день там, где провел лет семнадцать и где наскучило жить. "Увижу ли я опять эти главы и кресты?" – прощался я мысленно, отваливая в четвертый и последний раз от Английской набережной.

Наконец 7 октября фрегат "Паллада" снялся с якоря. С этим началась для меня жизнь, в которой каждое движение, каждый шаг, каждое впечатление были не похожи ни на какие прежние.

Вскоре всё стройно засуетилось на фрегате, до тех пор неподвижном. Все четыреста человек экипажа столпились на палубе, раздались командные слова, многие матросы поползли вверх по вантам, как мухи облепили реи, и судно окрылилось парусами. Но ветер был не совсем попутный, и потому нас потащил по заливу сильный пароход и на рассвете воротился, а мы стали бороться с поднявшимся бурным или, как моряки говорят, "свежим" ветром. Началась сильная качка. Но эта первая буря мало подействовала на меня: не бывши никогда в море, я думал, что это так должно быть, что иначе не бывает, то есть что корабль всегда раскачивается на обе стороны, палуба вырывается из-под ног и море как будто опрокидывается на голову.

Я сидел в кают-компании, прислушиваясь в недоумении к свисту ветра между снастей и к ударам волн в бока судна. Наверху было холодно; косой, мерзлый дождь хлестал в лицо. Офицеры беззаботно разговаривали между собой, как в комнате, на берегу; иные читали. Вдруг раздался пронзительный свист, но не ветра, а боцманских свистков, и вслед за тем разнесся по всем палубам крик десяти голосов: "Пошел все наверх!" Мгновенно всё народонаселение фрегата бросилось снизу вверх; отсталых матросов побуждали боцмана. Офицеры бросили книги, карты (географические: других там нет), разговоры и стремительно побежали туда же. Непривычному человеку покажется, что случилось какое-нибудь бедствие, как будто что-нибудь сломалось, оборвалось и корабль сейчас пойдет на

дно. "Зачем это зовут всех наверх?" – спросил я бежавшего мимо меня мичмана. "Свистят всех наверх, когда есть авральная работа", – сказал он второпях и исчез. Цепляясь за трапы и веревки, я выбрался на палубу и стал в уголок. Всё суетилось. "Что это такое авральная работа?" – спросил я другого офицера. "Это когда свистят всех наверх", – отвечал он и занялся – авральной работой. Я старался составить себе идею о том, что это за работа, глядя, что делают, но ничего не уразумел: делали всё то же, что вчера, что, вероятно, будут делать завтра: тянут снасти, поворачивают реи, подбирают паруса. Офицеры объяснили мне сущую истину, мне бы следовало так и понять просто, как оно было сказано, – и вся тайна была тут. Авральная работа – значит общая работа, когда одной вахты мало, нужны все руки, оттого всех и "свистят наверх"! По-английски, если не ошибаюсь, и командуют "Все руки вверх!" ("All hands up!"). Через пять минут, сделав, что нужно, все разошлись по своим местам. Барон Крюднер в трех шагах от меня насвистывал под шум бури мотив из оперы. Напрасно я силился подойти к нему: ноги не повиновались, и он смеялся моим усилиям. "Морских ног нет еще у вас", – сказал он. "А скоро будут?" – спросил я. "Месяца через два, вероятно". Я вздохнул: только это и оставалось мне сделать при мысли, что я еще два месяца буду ходить, как ребенок, держась за юбку няньки. Вскоре обнаружилась морская болезнь у молодых и подверженных ей или не бывших давно в походе моряков. Я ждал, когда начну и я отдавать эту скучную дань морю, а ждал непременно. Между тем наблюдал за другими: вот молодой человек, гардемарин, бледнеет, опускается на стул; глаза у него тускнеют, голова клонится на сторону. Вот сменили часового, и он, отдав ружье, бежит опрометью на бак. Офицер хотел что-то крикнуть матросам, но вдруг отвернулся лицом к морю и оперся на борт... "Что это, вас, кажется, травит?" – говорит ему другой. (Травить, вытравливать – значит выпускать понемногу канат.) Едва успеваешь отскакивать то от того, то от другого...

"Выпейте водки", – говорят мне одни. "Нет, лучше лимонного соку", – советуют другие; третьи предлагают луку или редьки. Я не знал, на что решиться, чтобы предупредить болезнь, и закурил сигару. Болезнь всё не приходила, и я тревожно похаживал между больными, ожидая – вот-вот начнется. "Вы курите в качку сигару и ожидаете после этого, что вас укачает: напрасно!" –

сказал мне один из спутников. И в самом деле напрасно: во всё время плавания я ни разу не почувствовал ни малейшей дурноты и возбуждал зависть даже в морях.

Я с первого шага на корабль стал осматриваться. И теперь еще, при конце плавания, я помню то тяжелое впечатление, от которого сжалось сердце, когда я в первый раз вглядывался в принадлежности судна, заглянул в трюм, в темные закоулки, как мышиные норки, куда едва доходит бледный луч света чрез толстое в ладонь стекло. С первого раза невыгодно действует на воображение всё, что потом привычному глазу кажется удобством: недостаток света, простора, люки, куда люди как будто проваливаются, пригвожденные к стенам комоды и диваны, привязанные к полу столы и стулья, тяжелые орудия, ядра и картечи, правильными кучами на кранцах, как на подносах, расставленные у орудий; груды снастей, висящих, лежащих, двигающихся и неподвижных, койки вместо постелей, отсутствие всего лишнего; порядок и стройность вместо красивого беспорядка и некрасивой распушенности, как в людях, так и в убранстве этого плавучего жилища. Робко ходит в первый раз человек на корабле: каюта ему кажется гробом, а между тем едва ли он безопаснее в многолюдном городе, на шумной улице, чем на крепком парусном судне, в океане. Но к этой истине я пришел нескоро.

Нам, русским, делают упрек в лени, и недаром. Сознаемся сами, без помощи иностранцев, что мы тяжелы на подъем. Можно ли поверить, что в Петербурге есть множество людей, тамошних уроженцев, которые никогда не бывали в Кронштадте оттого, что туда надо ехать морем, именно оттого, зачем бы стоило съездить за тысячу верст, чтобы только испытать этот способ путешествия? Моряки особенно жаловались мне на недостаток любознательности в нашей публике ко всему, что касается моря и флота, и приводили в пример англичан, которые толпами, с женами и детьми, являются на всякий корабль, приходящий в порт. Первая часть упрека совершенно основательна, то есть в недостатке любопытства; что касается до второй, то англичане нам не пример.

У англичан море – их почва: им не по чем ходить больше. Оттого в английском обществе есть множество женщин, которые бывали во всех пяти частях света.

Некоторые постоянно живут в Индии и приезжают видеться с родными в Лондон, как у нас из Тамбова в Москву. Следует ли от этого

упрекать наших женщин, что они не бывают в Китае, на мысе Доброй Надежды, в Австралии, или англичанок за то, что они не бывают на Камчатке, на Кавказе, в глубине азиатских степей?

Но не знать петербургскому жителю, что такое палуба, мачта, реи, трюм, трап, где корма, где нос, главные части и принадлежности корабля, – не совсем позволительно, когда под боком стоит флот. Многие оправдываются тем, что они не имеют между моряками знакомых и оттого затрудняются сделать визит на корабль, не зная, как "моряки примут". А примут отлично, как хорошие знакомые; даже самолюбию их будет приятно участие к их делу, и они познакомят вас с ним с радушием и самою изысканною любезностью. Поезжайте летом на кронштадтский рейд, на любой военный корабль, адресуйтесь к командиру, или старшему, или, наконец, к вахтенному (караульному) офицеру с просьбой осмотреть корабль, и если нет "авральной" работы на корабле, то я вам ручаюсь за самый приятный прием.

Приехав на фрегат, еще с багажом, я не знал, куда ступить, и в незнакомой толпе остался совершенным сиротой. Я с недоумением глядел вокруг себя и на свои сложенные в кучу вещи. Не прошло минуты, ко мне подошли три офицера: барон Шлипенбах, мичманы Болтин и Колокольцев – мои будущие спутники и отличные приятели. С ними подошла куча матросов. Они разом схватили всё, что было со мной, чуть не меня самого, и понесли в назначенную мне каюту. Пока барон Шлипенбах водворял меня в ней, Болтин привел молодого, коренастого, гладко остриженного матроса. "Вот этот матрос вам назначен в вестовые", – сказал он. Это был Фаддеев, с которым я уже давно познакомил вас. "Честь имею явиться", – сказал он, вытянувшись и оборотившись ко мне не лицом, а грудью: лицо у него всегда было обращено несколько стороной к предмету, на который он смотрел. Русые волосы, белые глаза, белое лицо, тонкие губы – всё это напоминало скорее Финляндию, нежели Кострому, его родину. С этой минуты мы уже с ним неразлучны до сих пор. Я изучил его недели в три окончательно, то есть пока шли до Англии; он меня, я думаю, в три дня. Сметливость и "себе на уме" были не последними его достоинствами, которые прикрывались у него наружною неуклюжестью костромитянина и субординациею матроса. "Помоги моему человеку установить вещи в каюте", – отдал я ему первое приказание. И то, что моему слуге стало бы на два утра работы, Фаддеев сделал в три приема – не спрашивайте как.

Такой ловкости и цепкости, какую обладает матрос вообще, а Фаддеев в особенности, встретишь разве в кошке. Через полчаса всё было на своем месте, между прочим и книги, которые он расположил на комод в углу полукружием и перевязал, на случай качки, веревками так, что нельзя было вынуть ни одной без его же чудовищной силы и ловкости, и я до Англии пользовался книгами из чужих библиотек.

"Вы, верно, не обедали, – сказал Болтин, – а мы уже кончили свой обед: не угодно ли закусить?" Он привел меня в кают-компанию, просторную комнату внизу, на кубрике, без окон, но с люком наверху, чрез который падает обильный свет. Кругом помещались маленькие каюты офицеров, а посредине насквозь проходила бизань-мачта, замаскированная круглым диваном. В кают-компании стоял длинный стол, какие бывают в классах, со скамьями. На нем офицеры обедают и занимаются. Была еще кушетка, и больше ничего. Как ни массивен этот стол, но, при сильной качке, и его бросало из стороны в сторону, и чуть было однажды не задавило нашего миньютюрного, доброго, услужливого распорядителя офицерского стола П. А. Тихменева. В офицерских каютах было только место для постели, для комода, который в то же время служил и столом, и для стула. Но зато всё пригнано к помещению всякой всячины как нельзя лучше. Платье висело на перегородке, белье лежало в ящиках, устроенных в постели, книги стояли на полках.

Офицеров никого не было в кают-компании: все были наверху, вероятно "на авральной работе". Подали холодную закуску. А. А. Болтин угощал меня.

"Извините, горячего у нас ничего нет, – сказал он, – все огни потушены.

Порох принимаем". – "Порох? А много его здесь?" – осведомился я с большим участием. "Пудов пятьсот приняли: остается еще принять пудов триста". – "А где он у вас лежит?" – еще с большим участием спросил я. "Да вот здесь, – сказал он, указывая на пол, – под вами". Я немного приостановился жевать при мысли, что подо мной уже лежит пятьсот пудов пороху и что в эту минуту вся "авральная работа" сосредоточена на том, чтобы подложить еще пудов триста. "Это хорошо, что огни потушены", – похвалил я за предусмотрительность. "Помилуйте, что за хорошо: курить нельзя", – сказал другой, входя в каюту. "Вот какое различие бывает во взглядах на один и тот же предмет!" – подумал я в ту минуту, а через месяц, когда, во время починки фрегата в Портсмуте, сдавали порох на сбережение в английское адмиралтейство, ужасно роптал, что огня не дают и что покурить нельзя.

К вечеру собрались все: камбуз (печь) запылал;

подали чай, ужин – и задымились сигары. Я перезнакомился со всеми, и вот с тех пор до сей минуты – как дома. Я думал, судя по прежним слухам, что слово "чай" у моряков есть только аллегория, под которою надо разуместь пунш, и ожидал, что когда офицеры соберутся к столу, то начнется авральная работа за пуншем, загорится живой разговор, а с ним и носы, потом кончится дело объяснениями в дружбе, даже объятиями, – словом, исполнится вся программа оргии. Я уже придумал, как мне отделаться от участия в ней. Но, к удивлению и удовольствию моему, на длинном столе стоял всего один графин хереса, из которого человека два выпили по рюмке, другие и не заметили его. После, когда предложено было вовсе не подавать вина за ужином, все единодушно согласились. Решили: излишек в экономии от вина приложить к сумме, определенной на библиотеку. О ней был длинный разговор за ужином, "а об водке ни полслова!" Не то рассказывал мне один старый моряк о прежних временах! "Бывало, сменишься с вахты иззябший и перемокший – да какхватишь стаканов шесть пунша!.." – говорил он. Фаддеев устроил мне койку, и я, несмотря на октябрь, на дождь, на лежавшие под ногами восемьсот пудов пороха, заснул, как редко спал на берегу, утомленный хлопотами переезда, убаюканный свежестью воздуха и новыми, не неприятными впечатлениями. Утром я только что проснулся, как увидел в каюте своего городского слугу, который не успел с вечера отправиться на берег и ночевал с матросами. "Барин! – сказал он встревоженным и умоляющим голосом, – не ездите, Христа ради, по морю!" – "Куда?" – "А куда едете: на край света". – "Как же ехать?" – "Матросы сказывали, что сухим путем можно". – "Отчего ж не по морю?" – "Ах, Господи! какие страсти рассказывают. Говорят, вон с этого бревна, что наверху поперек висит..." – "С рея, – поправил я. – Что ж случилось?" – "В бурю ветром пятнадцать человек в море снесло; насилу вытащили, а один утонул. Не ездите, Христа ради!" Вслушавшись в наш разговор, Фаддеев заметил, что качка ничего, а что есть на море такие места, где "крутит", и когда корабль в эдакую "кручу" попадает, так сейчас вверх килем повернется. "Как же быть-то, – спросил я, – и где такие места есть?" – "Где такие места есть? – повторил он, – штурмана знают, туда не ходят".

Итак, мы снялись с якоря. Море бурно и желто, облака серые, непроницаемые; дождь и снег шли попеременно – вот что провожало нас из отечества. Ванты и снасти леденели. Матросы в байковых пальто жались в кучу. Фрегат, со скрипом и стоном, переваливался с волны на волну; берег, в виду которого шли мы,

зарылся в туманах. Вахтенный офицер, в кожаном пальто и клеенчатой фуражке, зорко глядел вокруг, стараясь не выставлять наружу ничего, кроме усов, которым предоставлялась полная свобода мерзнуть и мокнуть. Больше всех заботы было деду. Я в предыдущих письмах познакомил вас с ним и почти со всеми моими спутниками. Не стану возвращаться к их характеристике, а буду упоминать о каждом кстати, когда придет очередь.

Деду, как старшему штурманскому капитану, предстояло наблюдать за курсом корабля. Финский залив весь усеян мелями, но он превосходно обставлен маяками, и в ясную погоду в нем так же безопасно, как на Невском проспекте.

А теперь, в туман, дед, как ни напрягал зрение, не мог видеть Нервинского маяка. Беспокойству его не было конца. У него только и было разговору, что о маяке. "Как же так, – говорил он всякому, кому и дела не было до маяка, между прочим и мне, – по расчету уж с полчаса мы должны видеть его. Он тут, непременно тут, вот против этой ванты, – ворчал он, указывая коротеньким пальцем в туман, – да каторжный туман мешает". – "Ах ты, Господи! поди-ка посмотри ты, не увидишь ли?" – говорил он кому-нибудь из матрос. "А это что такое там, как будто стрелка?.." – сказал я. "Где? где?" – живо спросил он.

"Да вон, кажется..." – говорил я, указывая вдаль. "Ах, в самом деле – вон, вон, да, да! Виден, виден! – торжественно говорил он и капитану, и старшему офицеру, и вахтенному и бегал то к карте в каюту, то опять наверх. – Виден, вот, вот он, весь виден!" – твердил он, радуясь, как будто увидел родного отца. И пошел мерять и высчитывать узлы.

Мы прошли Готланд. Тут я услышал морское поверье, что, поравнявшись с этим островом, суда бросали, бывало, медную монету духу, охраняющему остров, чтобы он пропустил мимо без бурь. Готланд – камень с крутыми ровными боками, к которым нет никакого приступа кораблям. Не раз они делались добычей бурного духа, и свирепое море высоко подбрасывало обломки их, а иногда и трупы, на крутые бока негостеприимного острова. Прошли и Борнгольм – помните "милый Борнгольм" и таинственную, недосказанную легенду Карамзина? Всё было холодно, мрачно. На фрегате открылась холера, и мы, дойдя только до Дании, похоронили троих людей, да один смелый матрос сорвался в бурную погоду в море и утонул. Таково было наше обручение с морем, и предсказание моего слуги отчасти сбылось. Подать упавшему помощь, не жертвуя другими людьми, по причине сильного волнения, было невозможно.

Но дни шли своим чередом и жизнь на корабле тоже.

Отправляли службу, обедали, ужинали – всё по свистку, и даже по свистку веселились. Обед – это тоже своего рода авральная работа. В батарейной палубе привешиваются большие чашки, называемые "баками", куда накладывается кушанье из одного общего, или "братского", котла. Дают одно блюдо: щи с солониной, с рыбой, с говядиной или кашицу; на ужин то же, иногда кашу. Я подошел однажды попробовать. "Хлеб да соль", – сказал я. Один из матросов, из учтивости, чисто облизал свою деревянную ложку и подал мне. Щи превкусные, с сильной приправой луку. Конечно, нужно иметь матросский желудок, то есть нужен моцион матроса, чтобы переварить эти куски солонины и лук с вареною капустой – любимое матросами и полезное на море блюдо. "Но одно блюдо за обедом – этого мало, – думалось мне, – матросы, пожалуй, голодны будут". – "А много ли вы едите?" – спросил я. "До отвалу, ваше высокоблагородие", – в пять голосов отвечали обедающие. В самом деле, то от одной, то от другой группы опрометью бежал матрос с пустой чашкой к братскому котлу и возвращался осторожно, неся полную до краев чашку.

Веселились по свистку, сказал я; да, там, где собрано в тесную кучу четыреста человек, и самое веселье подчинено общему порядку. После обеда, по окончании работ, особенно в воскресенье, обыкновенно раздается команда:

"Свистать песенников наверх!" И начинается веселье. Особенно я помню, как это странно поразило меня в одно воскресенье. Холодный туман покрывал небо и море, шел мелкий дождь. В такую погоду хочется уйти в себя, сосредоточиться, а матросы пели и плясали. Но они странно плясали: усиленные движения явно разногласили с этою сосредоточенностью. Пляшущие были молчаливы, выражения лиц хранили важность, даже угрюмость, но тем, кажется, они усерднее работали ногами. Зрители вокруг, с тою же угрюмою важностью, пристально смотрели на них. Пляска имела вид напряженного труда.

Плясали, кажется, лишь по сознанию, что сегодня праздник, следовательно, надо веселиться. Но если б отменили удовольствие, они были бы недовольны.

Плавание становилось однообразно и, признаюсь, скучновато: всё серое небо, да желтое море, дождь со снегом или снег с дождем – хоть кому надоест. У меня уж заболели зубы и висок. Ревматизм напомнил о себе живее, нежели когда-нибудь. Я слег и несколько дней пролежал, закутанный в теплые одеяла, с подвязанною щекой.

Только у берегов Дании повеяло на нас теплом, и мы ожили. Холера исчезла со всеми признаками, ревматизм мой унялся, и я

стал выходить на улицу – так я прозвал палубу. Но бури не покидали нас: таков обычай на Балтийском море осенью. Пройдет день-два – тихо, как будто ветер собирается с силами, и грянет потом так, что бедное судно стонет, как живое существо.

День и ночь на корабле бдительно следят за состоянием погоды. Барометр делается общим оракулом. Матрос и офицер не смеют надеяться проспать покойно свою смену. "Пошел все наверх!" – раздаётся и среди ночного безмолвия. Я, лежа у себя в койке, слышу всякий стук, крик, всякое движение парусов, командные слова и начинаю понимать смысл последних. Когда услышишь приказание: "Поставить брамсели, лиселя", покойно закутываешься в одеяло и засыпаешь беззаботно: значит, тихо, покойно. Зато как наостришь уши, когда велят "братъ два, три рифа", то есть уменьшить парус. Лучше и не засыпать тогда: всё равно после проснешься поневоле.

Заговорив о парусах, кстати скажу вам, какое впечатление сделала на меня парусная система. Многие наслаждаются этою системой, видя в ней доказательство будто бы могущества человека над бурною стихией. Я вижу совсем противное, то есть доказательство его бессилия одолеть воду.

Посмотрите на постановку и уборку парусов вблизи, на сложность механизма, на эту сеть снастей, канатов, веревок, концов и веревочек, из которых каждая отправляет свое особенное назначение и есть необходимое звено в общей цепи; взгляните на число рук, приводящих их в движение. И между тем к какому неполному результату приводят все эти хитрости! Нельзя определить срок прибытия парусного судна, нельзя бороться с противным ветром, нельзя сдвинуться назад, наткнувшись на мель, нельзя поворотить сразу в противную сторону, нельзя остановиться в одно мгновение. В штиль судно дремлет, при противном ветре лавирует, то есть виляет, обманывает ветер и выигрывает только треть прямого пути. А ведь несколько тысяч лет убито на то, чтоб выдумывать по парусу и по веревке в столетие. В каждой веревке, в каждом крючке, гвозде, дощечке читаешь историю, каким путем истязаний приобрело человечество право плавать по морю при благоприятном ветре. Всех парусов до тридцати: на каждое дуновение ветра приходится по парусу. Оно, пожалуй, красиво смотреть со стороны, когда на бесконечной глади вод плывет корабль,

окрыленный белыми парусами, как подобие лебедя, а когда попадешь в эту паутину снастей, от которых проходу нет, то увидишь в этом не доказательство силы, а скорее безнадежность на совершенную победу. Парусное судно похоже на старую кокетку, которая нарумянится, набелится, подденет десять юбок и затянется в корсет, чтобы подействовать на любовника, и на минуту иногда успеет; но только явится молодость и свежесть сил – все ее хлопоты разлетятся в прах. И парусное судно, обмотавшись веревками, завесившись парусами, роет туда же, кряхтя и охая, волны; а чуть задует в лоб – крылья и повисли. До паров еще, пожалуй, можно бы не то что гордиться, а забавляться сознанием, что вот-де дошли же до того, что плаваем по морю с попутным ветром. Некоторые находят, что в пароходе меньше поэзии, что он не так опрятен, некрасив. Это от непривычки: если б пароходы существовали несколько тысяч лет, а парусные суда недавно, глаз людской, конечно, находил бы больше поэзии в этом быстром, видимом стремлении судна, на котором не мечется из угла в угол измученная толпа людей, стараясь угодить ветру, а стоит в бездействии, скрестив руки на груди, человек, с покойным сознанием, что под ногами его сжата сила, равная силе моря, заставляющая служить себе и бурю, и штиль. Напрасно водили меня показывать, как красиво вздуваются паруса с подветренной стороны, как фрегат, лежа боком на воде, режет волны и мчится по двенадцати узлов в час. "Эдак и пароход не пойдет!" – говорят мне. "Да зато пароход всегда пойдет". Горе моряку старинной школы, у которого весь ум, вся наука, искусство, а за ними самолюбие и честолюбие расселись по снастям. Дело решено. Паруса остались на долю мелких судов и небогатых промышленников; всё остальное усвоило пар.

Ни на одной военной верфи не строят больших парусных судов; даже старые переделываются на паровые. При нас в портсмутском адмиралтействе розняли уже совсем готовый корабль пополам и вставили паровую машину.

Мы вошли в Зунд; здесь не выдавшему никогда ничего, кроме наших ровных степных местностей, в первый раз являются в тумане картины гор, желтых, лиловых, серых, смотря по освещению солнца и расстоянию. Шведский берег весь гористый. Датский виден ясно. Он нам представил картину увядшей осенней зелени, несколько деревень. Романтики, глядя на крепости обоих берегов, припоминали могилу Гамлета; более положительные люди

рассуждали о несправедливости зундских пошлин, самые положительные – о необходимости запастись свежей провизией, а все вообще мечтали съехать на сушки на берег, ступить ногой в Данию, обегать Копенгаген, взглянуть на физиономию города, на картину людей, быта, немного распрямить ноги после качки, поесть свежих устриц. Но ничего этого не случилось. На другой день заревел шторм, сообщения с берегом не было, и мы простояли, помнится, трое суток в печальном бездействии. Простоять в виду берега, не имея возможности съехать на него, гораздо скучнее, нежели пробыть месяц в море, не видя берегов. В этом я убедился вполне. Обедали, пили чай, разговаривали, читали, заучили картину обоих берегов наизусть, и все-таки времени оставалось много.

Изредка нарушалось однообразие неожиданным развлечением. Вбежит иногда в капитанскую каюту вахтенный и тревожно скажет: "Купец наваливается, ваше высокоблагородие!" Книги, обед – всё бросается, бегут наверх; я туда же. В самом деле, купеческое судно, называемое в море коротко купец, для отличия от военного, сбито течением или от неумения править, так и ломит, или на нос, или на корму, того и гляди стукнется, повредит как-нибудь утлегарь, поломает реи – и не перечесть, сколько наделает вреда себе и другим.

Начинается крик, шум, угрозы, с одной стороны по-русски, с другой – энергические ответы и оправдания по-голландски, или по-английски, по-немецки. Друг друга в суматохе не слышат, не понимают, а кончится все-таки тем, что расцепятся, – и всё смолкнет: корабль нем и недвижим опять; только часовой задумчиво ходит с ружьем взад и вперед.

Завидят ли огни ночью – еще больше тревоги. На бдительность купеческих судов надеяться нельзя. Там всё принесено в жертву экономии; от этого людей на них мало, рулевой большею частью один: нельзя понадеяться, что ночью он не задремлет над колесом и не прозевает встречных огней. Столкновение двух судов ведет за собой неминуемую гибель одного из них, меньшего непременно, а иногда и обоих. От этого всегда поднимается гвалт на судне, когда завидят идущие навстречу огни, кричат, бьют в барабан, жгут бенгальские огни, и если судно не

меняет своего направления, палят из пушек. Это особенно приятно, когда многие спят по каютам и не знают, в чем дело, а тут вдруг раздается треск, от которого дрогнет корабль. Но и к этому привыкаешь.

Барон Шлипенбах один послан был по делу на берег, а потом, вызвав лоцмана, мы прошли Зунд, лишь только стихнул шторм, и пустились в Каттегат и Скагеррак, которые пробежали в сутки.

Я в это время читал замечательную книгу, от которой нельзя оторваться, несмотря на то что читал уже не совсем новое. Это "История кораблекрушений", в которой собраны за старое и новое время все случаи известных кораблекрушений со всеми последствиями. В. А. Корсаков читал ее и дал мне прочесть "для успокоения воображения", как говорил он. Хорошо успокоение: прочесть подряд сто историй, одна страшнее и плачевнее другой, когда пускаешься года на три жить на море! Только и говорится о том, как корабль стукнулся о камень, повалился на бок, как рухнули мачты, палубы, как гибли сотнями люди – одни раздавленные пушками, другие утонули...

Взглянешь около себя и увидишь мачты, палубы, пушки, слышишь рев ветра, а невдалеке, в красноречивом безмолвии, стоят красивые скалы: не раз содрогнешься за участь путешественников!.. Но я убедился, что читать и слушать рассказы об опасных странствиях гораздо страшнее, нежели испытывать последние. Говорят, и умирающему не так страшно умирать, как свидетелям смотреть на это.

Потом, вникая в устройство судна, в историю всех этих рассказов о кораблекрушениях, видишь, что корабль погибает не легко и не скоро, что он до последней доски борется с морем и носит в себе пропасть средств к защите и самохранению, между которыми есть много предвиденных и непредвиденных, что, лишась почти всех своих членов и частей, он еще тысячи миль носится по волнам, в виде остова, и долго хранит жизнь человека. Между обреченным гибели судном и расвирепевшим морем завязывается упорная битва: с одной стороны слепая сила, с другой – отчаяние и зоркая хитрость, указывающая самому крушению совершаться постепенно, по правилам. Есть целая теория, как защищаться от гибели. Срежет ли ураган у корабля все три мачты: кажется, как бы не погибнуть? Ведь это всё равно что

отрезать вожжи у горячей лошади, а между тем поставят фальшивые мачты из запасного дерева – и идут.

Оторвется ли руль: надежда спастись придает изумительное проворство, и делается фальшивый руль. Оказывается ли сильная пробоина, ее затягивают на первый случай просто парусом – и отверстие "засасывается" холстом и не пропускает воду, а между тем десятки рук изготавливают новые доски, и пробоина заколачивается. Наконец судно отказывается от битвы, идет ко дну: люди бросаются в шлюпку и на этой скорлупке достигают ближайшего берега, иногда за тысячу миль.

В Немецком море, когда шторм утих, мы видели одно такое безнадежное судно. Мы сначала не знали, что подумать о нем. Флага не было: оно не подняло его, когда мы требовали этого, подняв свой. Подойдя ближе, мы не заметили никакого движения на нем. Наконец поехали на шлюпке к нему – на нем ни одного человека: судно было брошено на гибель. Трюм постоянно наполнялся водой, и если б мы остались тут, то, вероятно, к концу дня увидели бы, как оно погрузится на дно. Видите ли, сколько времени нужно и безнадежному судну, чтобы потонуть... к концу дня! А оно уже было лишено своего разума и воли, то есть людей, и, следовательно, перестало бороться.

Оно гибло безответно. Носовая его часть опустилась: печальная картина, как картина всякой агонии!

В этот же день, недалеко от этого корабля, мы увидели еще несколько точек вдаль и слышали крик. В трубу разглядели лодки; подвигаясь ближе, различили явственнее человеческие голоса. "Рыбаки, должно быть", – сказал капитан. "Нет, – возразил отец Аввакум, – слышите, вопли! Это, вероятно, погибающие просят о помощи: нельзя ли повернуть?" Капитан был убежден в противном; но, чтоб не брать греха на душу, велел держать на рыбаков. Ему, однако ж, не очень нравилось терять время по-пустому: военным судам разгуливать по морю некогда. "Если это, – ворчал он, – рыбаки кричат, предлагают рыбу... Приготовить брандспойты!" – приказал он вахтенному (брандспойты – пожарные трубы). Матросам велено было набрать воды и держать трубы наготове. Черные точки между тем превратились в лодки. Вот видны и люди, которые, стоя в них, вопят так, что, я думаю, в Голландии слышно.

Подходим ближе – люди протягивают к нам руки, умоляя – купить рыбы. Велено держать вплоть к лодкам. "Брандспойты!" – закричал вахтенный, и рыбакам задан был обильный душ, к несказанному удовольствию наших

матросов, и рыбаков тоже, потому что и они засмеялись вместе с нами.

Впрочем, напрасно капитан дорожил так временем. Мы рассчитывали 20-го, 21-го октября прийти в Портсмут, а пробыли в Немецком море столько, что имели бы время сворачивать и держать на каждого рыбака, которого только завидим. Задул постоянный противный ветер и десять дней не пускал войти в Английский канал. "Что ж вы делали десять дней?" – спросите вы. Вам трудно представить себе, когда час езды между Петербургом и Крондштадтом наводит скуку. Да, несколько часов пробыть на море скучно, а несколько недель – ничего, потому что несколько недель уже есть капитал, который можно употребить в дело, тогда как из нескольких часов ничего не сделаешь.

Впрочем, у нас были и развлечения: появились касатки, или морские свиньи.

Они презабавно прыгали через волны, показывая черные толстые хребты. По вечерам, наклонясь над бортом, мы любовались сверкающими в пучине фосфорическими искрами мелких животных.

Идучи Балтийским морем, мы обедали почти роскошно. Припасы были свежие, повар отличный. Но лишь только задул противный ветер, стали опасаться, что он задержит нас долго в море, и решили беречь свежие припасы. Опасение это оправдалось вполне. Оставалось миль триста до Портсмута: можно бы промахнуть это пространство в один день, а мы носились по морю десять дней, и всё по одной линии. "Где мы?" – спросишь, проснувшись, утром у деда. "В море", – говорит он сердито. "Я знаю это и без вас, – еще сердитее отвечаете вы, – да на каком же месте?" – "Вон, взгляните, разве не видите? Всё там же, где были и вчера: у Галлоперского маяка". – "А теперь куда идем"? – "Куда и вчера ходили: к Доггерской банке". Банка эта мелка относительно общей глубины моря, но имеет достаточную глубину для больших кораблей. На ней не только безопасно, но даже волнение не так чувствительно. На ней стараются особенно держаться голландские рыбацьи суда. "Ну что, подвигаемся?" – спросите потом вечером у деда, общего оракула. "Как же, отлично: крутой бейдевинд: семь с половиной узлов хода". – "Да подвигаемся ли вперед?" – спрашиваете вы с нетерпением.

"Разумеется, вперед: к Галлоперскому маяку, – отвечает дед, – уж, чай, и виден!" Вследствие этого на столе чаще стала появляться солонина; состаревшиеся от морских треволнений куры и утки и поросята, выросшие до степени свиней, поступили в число тонких блюд. Даже пресную воду стали выдавать по порциям: сначала по две, потом по одной кружке в день на человека, только для питья. Умываться предложено было морской

водой, или не умываться, ad libitum. Скажу вам по секрету, что Фаддеев изловчился как-то обманывать бдительность Терентьева, трюмного унтер-офицера, и из-под носа у него таскал из систерн каждое утро по кувшину воды мне на умыванье.

"Достал, – говорил он радостно каждый раз, вбегая с кувшином в каюту, – на вот, ваше высокоблагородие, мойся скорее, чтоб не застали да не спросили, где взял, а я пока достану тебе полотенце рожу вытереть!" (ей-богу, не лгу!). Это костромское простодушие так нравилось мне, что я Христом Богом просил других не учить Фаддеева, как обращаться со мною. Так удавалось ему дня три, но однажды он воротился с пустым кувшином, ерошил рукой затылок, чесал спину и чему-то хохотал, хотя сквозь смех проглядывала некоторая принужденность. "Э! леший, черт, какую затрещину дал!" – сказал он наконец, глядя то спину, то голову. "Кто, за что?" – "Терентьев, черт эдакой! увидал, сволочь! Я зачерпнул воды-то, уж и на трап пошел, а он откуда-то и подвернулся, вырвал кувшин, вылил воду назад да как треснет по затылку, я на трап, а он сзади вдогонку лопарем по спине съездил!" И опять засмеялся.

Я уж писал вам, как радовала Фаддеева всякая неудача, приключившаяся кому-нибудь, полученный толчок, даже им самим, как в настоящем случае.

Главный надзор за трюмом поручен был П. А. Тихменеву, о котором я упомянул выше. Он был добрый и обязательный человек вообще, а если подделаться к нему немножко, тогда нет услуги, которой бы он ни оказал. Все знали это и частенько пользовались его добротой. Он, по общему выбору, распоряжался хозяйством кают-компании, и вот тут-то встречалось множество поводов обязать того, другого, вспомнить, что один любит такое-то блюдо, а другой не любит и т. п. Он часто бывал жертвою своей обязательности, затрудняясь, как угодить вдруг многим, но большею частью выходил из затруднений победителем. А иногда его брал задор: всё это подавало постоянный повод к бесчисленным сценам, которые развлекали нас не только между Галлоперским маяком и Доггерской банкой, но и в тропиках, и под экватором, на всех четырех океанах, и развлекают до сих пор. Например, он заметит, что кто-нибудь не ест супу. "Отчего вы не едите супу?" – спросит он. "Так, не хочется", – отвечают ему. "Нет, вы скажите откровенно", – настаивает он, мучимый опасением, чтобы не обвинили его в небрежности или неуменье, пуще всего в неуменье исполнять свою обязанность. Он был до крайности щекотлив. "Да, право, я не хочу: так что-то..." – "Нет, верно, нехорош суп: недаром вы не едите. Скажите,

пожалуйста!" Наконец тот решается сказать что-нибудь. "Да, что-то сегодня не вкусен суп..." Он не успел еще договорить, как кроткий Петр Александрович свирепеет. "А чем он нехорош, позвольте спросить? – вдруг спрашивает он в негодовании, – сам покупал провизию, старался угодить – и вот награда! Чем нехорош суп?" – "Нет, я ничего, право..." – начинает тот. "Нет, извольте сказать, чем он нехорош, я требую этого, – продолжает он, окидывая всех взглядом, – двадцать человек обедают, никто слова не говорит, вы один только..."

Господа, я спрашиваю вас – чем нехорош суп? Я, кажется, прилагаю все старания, – говорит он со слезами в голосе и с пафосом, – общество удостоило меня доверия, надеюсь, никто до сих пор не был против этого, что я блистательно оправдывал это доверие; я дорожу оказанною мне доверенностью..." – и так продолжает, пока дружно не захохочут все и наконец он сам. Иногда на другом конце заведут стороной, вполголоса, разговор, что вот зелень не свежа, да и дорога, что кто-нибудь будто был на берегу и видел лучше, дешевле. "Что вы там шепчете, позвольте спросить?" – строго спросит он. "Вам что за дело?" – "Может быть, что-нибудь насчет стола, находите, что это нехорошо, дорого, так снимите с меня эту обязанность: я ценю ваше доверие, но если я мог возбудить подозрения, недостойные вас и меня, то я готов отказаться..." Он даже встанет, положит салфетку, но общий хохот опять усадит его на место.

Избалованный общим вниманием и участием, а может быть и баловень дома, он любил иногда привередничать. Начнет охать, вздыхать, жаловаться на небывалый недуг или утомление от своих обязанностей и требует утешений.

"Витул, Витул! – томно кличет он, отходя ко сну, своего вестового. – Я так устал сегодня: раздень меня да уложи". Раздевание сопровождается вздохами и жалобами, которые слышны всем из-за перегородки. "Завтра на вахту рано вставать, – говорит он, вздыхая, – подложи еще подушку, повыше, да постой, не уходи, я, может быть, что-нибудь вздумаю!" Вот к нему-то я и обратился с просьбою, нельзя ли мне отпускать по кружке пресной воды на умыванье, потому-де, что мыло не распускается в морской воде, что я не моряк, к морскому образу жизни не привык, и, следовательно, на меня, казалось бы, строгость эта распространяться не должна. "Вы знаете, – начал он, взяв меня за руки, – как я вас уважаю и как дорожу вашим расположением: да, вы не сомневаетесь в этом?" – настойчиво допытывался он. "Нет", – с чувством подтвердил я, в надежде, что он станет давать мне

пресную воду. "Поверьте, – продолжал он, – что если б я среди моря умирал от жажды, я бы отдал вам последний стакан: вы верите этому?" – "Да", – уже нерешительно отвечал я, начиная подозревать, что не получу воды. "Верьте этому, – продолжал он, – но мне больно, совестно, я готов – ах, Боже мой! зачем это... Вы, может быть, подумаете, что я не желаю, не хочу... (и он пролил поток синонимов). Нет, не не хочу я, а не могу, не приказано. Поверьте, если б я имел хоть малейшую возможность, то, конечно, надеюсь, вы не сомневаетесь..." И повторил свой монолог. "Ну, нечего делать: *le devoir avant tout*, – сказал я, – я не думал, что это так строго". Но ему жаль было отказать совсем. "Вы говорите, что Фаддеев таскал воду тихонько", – сказал он. "Да". – "Так я его за это на бак отправлю". – "Вам мало кажется, что его Терентьев попотчевал лопарем, – заметил я, – вы еще хотите прибавить? Притом я сказал вам это по доверенности, вы не имеете права..." – "Правда, правда, нет, это я так... Знаете что, – перебил он, – пусть он продолжает потихоньку таскать по кувшину, только, ради Бога, не больше кувшина: если его Терентьев и поймает, так что ж ему за важность, что лопарем ударит или затрещину даст: ведь это не всякий день..." – "А если Терентьев скажет вам, или вы сами поймаете, тогда..." – "Отправлю на бак!" – со вздохом прибавил Петр Александрович.

Уж я теперь забыл, продолжал ли Фаддеев делать экспедиции в трюм для добывания мне пресной воды, забыл даже, как мы провели остальные пять дней странствования между маяком и банкой; помню только, что однажды, засидевшись долго в каюте, я вышел часов в пять после обеда на палубу – и вдруг близехонько увидел длинный, скалистый берег и пустые зеленые равнины.

Я взглядом спросил кого-то: что это? "Англия", – отвечали мне. Я присоединился к толпе и молча, с другими, стал пристально смотреть на скалы. От берега прямо к нам шла шлюпка; долго кувыркалась она в волнах, наконец пристала к борту. На палубе показался низенький, приземистый человек в синей куртке, в синих панталонах. Это был лоцман, вызванный для прохода фрегата по каналу.

Между двух холмов лепилась куча домов, которые то скрывались, то появлялись из-за бахромы набегавших на берег бурунов: к вершинам холмов прилипло облако тумана. "Что это такое?" – спросил я лоцмана. "Dover", – каркнул он. Я оглянулся налево: там рисовался неясно сизый, неровный и крутой берег Франции. Ночью мы бросили якорь на Спитгедском рейде,

между островом Вайтом и крепостными стенами Портсмута.

Июнь 1854 года.

На шкуне "Восток", в Татарском проливе.

Здесь прилагаю два письма к вам, которые я не послал из Англии, в надежде, что со временем успею дополнить их наблюдениями над тем, что видел и слышал в Англии, и привести всё в систематический порядок, чтобы представить вам удовлетворительный результат двухмесячного пребывания нашего в Англии. Теперь вижу, что этого сделать не в состоянии, и потому посылаю эти письма без перемены, как они есть. Удовольствуйтесь беглыми заметками, не о стране, не о силах и богатстве ее; не о жителях, не о их нравах, а о том только, что мелькнуло у меня в глазах. У какого путешественника достало бы смелости чертить образ Англии, Франции – стран, которые мы знаем не меньше, если не больше, своего отечества? Поэтому самому наблюдательному и зоркому путешественнику позволительно только прибавить какую-нибудь мелкую, ускользнувшую от общего изучения черту; прочим же, в том числе и мне, может быть позволено только разве говорить о своих впечатлениях.

ПИСЬМО 1-е

20 ноября / 2 декабря 1852 года.

Не знаю, получили ли вы мое коротенькое письмо из Дании, где, впрочем, я не был, а писал его во время стоянки на якоре в Зунде.

Тогда я был болен и всячески расстроен: всё это должно было отразиться и в письме. Не знаю, смогу ли и теперь сосредоточить в один фокус всё, что со мной и около меня делается, так, чтобы это, хотя слабо, отразилось в вашем воображении. Я еще сам не определил смысла многих явлений новой своей жизни. Голых фактов я сообщать не желал бы: ключ к ним не всегда подберешь, и потому поневоле придется освещать их светом воображения, иногда, может быть, фальшивым, и идти путем догадок там, где темно. Теперь еще у меня пока нет ни ключа, ни догадок, ни даже воображения: всё это подавлено рядом опытов, более или менее трудных, новых, иногда не совсем занимательных, вероятно, потому, что для многих из них нужен запас свежести взгляда и большей впечатлительности: в известные лета жизнь начинает отказывать человеку во многих приманках, на том основании, на каком скуная мать отказывает в деньгах выделенному сыну.

Так, например, я не постиг уже поэзии моря, может быть, впрочем, и оттого, что я еще не видал ни "безмолвного", ни "лазурного" моря и, кроме холода, бури и сырости, ничего не знаю. Слушая пока мои жалобы и стоны, вы, пожалуй, спросите, зачем я уехал? Сначала мне, как школьнику, придется сказать: "Не знаю", а потом, подумав, скажу: "А зачем бы я остался?" Да позвольте: уехал ли я? откуда? из Петербурга? Эдак, пожалуй, можно спросить, зачем я на днях уехал из Лондона, а несколько лет тому назад из Москвы, зачем через две недели уеду из Портсмута и т. д.? Разве я не вечный путешественник, как и всякий, у кого нет семьи и постоянного угла,

"домашнего очага", как говорили в старых романах? Тот уезжает, у кого есть всё это. А прочие век свой живут на станциях. Поэтому я только и выехал, а не уехал. Теперь следуют опасности, страхи, заботы, волнения морского плавания: они могли бы остановить. Как будто их нет или меньше на берегу? А отчего же, откуда эти вечные жалобы на жизнь, эти вздохи? Если нет крупных бед или внешних заметных волнений, зато сколько невидимых, но острых игл вонзается в человека среди сложной и шумной жизни в толпе, при ежедневных стычках "с ближним"! Щадит ли жизнь кого-нибудь и где-нибудь? Вот здесь нет сильных нравственных потрясений, глубоких страстей, живых и разнообразных симпатий и ненавистей. Пружины, двигающие этим, ржавеют на море вместе

Конец ознакомительного фрагмента